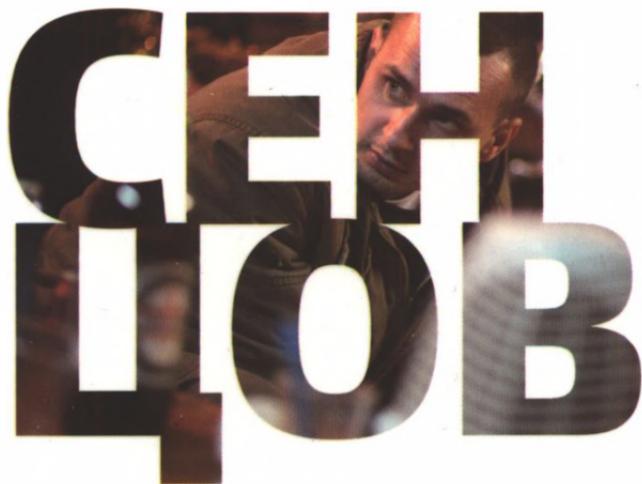


Олер

СЕН ЦОВ



Рассказы

LA
UR
US

PG
3493.44
.E678
R37
2015

Олег Сенцов

Рассказы

Олег Сенцов

РАС- СКАЗЫ

Laurus 2015



Сенцов, Олег.

Рассказы.— К.: Laugus, 2015.— 104 с.

Инициаторы издания Анна Паленчук и Олесь Санин

ISBN 978-966-2449-81-5

© Олег Сенцов, 2015

© Издательство «Лаурус»

Содержание

Автобиография	7
Собака	13
Детство	25
Больничка	39
Школа	55
Завещание	71
Бабушка	77
Макары	87

АВТО БИО ГРА ФИЯ

(в литературной форме)

Родился в понедельник, 13 числа. Наверное, оттого и жизнь проходит весело.

Детство было как детство—светлая пора. Вырос в деревне, в полуинтеллигентной семье: мать—воспитатель, отец—шофер. Жили небогато, но плохого вспомнить нечего.

В школе учился хорошо, в классе был первым. Много читал. Уроки делал, но не зубрил—выезжал на хорошей памяти и тяге к знаниям. В классе был отщепенцем. Худым. Били.

В 12 лет сильно простудился. Простуда дала осложнение на ноги—полиартрит. Отнялись. Полгода лечения—снова начал ходить.

В старших классах спорил с учителями—иногда по теме, иногда просто дерзил—раздражают люди, которые считают себя умнее других, но таковыми не являются. Влился в тусовку школы, начал дружить с хулиганами—жизнь повернулась новыми гранями. Занялся спортом, хотя врачи запрещали. Медицина от меня отказалась, а я от нее. Раскачался, закалился.

После школы приехал в город С. поступать в институт, в престижный, на государственное отделение. Не хотели принимать документы:

- Мальчик ты откуда?
- С деревни С..
- Золотая медаль есть?
- Нет.
- Серебряная?
- Нет.
- Так что же ты хочешь?
- Учиться!

Занимался самостоятельно. Прошел с минимальным баллом. Самый счастливый день в моей жизни. Через полгода пришло разочарование: студенты делают вид, что учатся, преподаватели делают вид, что учат. Забил на пары. Учился—тройка-зачет. Гулял. Водился с рокерами и музыкантами. Было весело. Бедно, но весело. Так больше никогда не будет.

Закончил ВУЗ. На работу по специальности (маркетинг) не пошел. С 9-00 до 18-00 — это не для меня, к вечеру поубивал бы всех сослуживцев.

В 20 лет умер отец (только спустя десять лет могу про это говорить). Веселая жизнь кончилась. Подрабатывал лет с 13 постоянно, теперь пришлось зарабатывать. Работал на рынке. Гербалайф, год разводил людей на деньги. Занялся бизнесом с другом. Одолжил много денег — влетел, друг пропал. Я выжил — 96-й год.

Работал администратором в компьютерных клубах, затем менеджером в них же. Увлёкся кибер-спортом. Четыре года профессионально играл в сетевые компьютерные игры. Выступал на чемпионатах, чемпион Украины. Поездил. Создал свою кибер-команду, сайт, собрал вокруг себя единомышленников, являюсь лидером кибер-движения Крыма.

Последние полтора года посвятил себя открытию крупнейшего Интернет-центра в Симферополе. Открыл. Прибыльно.

В 20 лет очень хотелось много денег—их не было и никак не получалось их заработать. К 30-ти мировоззрение поменялось полностью, и деньги занимают теперь далеко не первое место в моей системе ценностей, а они пришли... Наверное, так и должно быть. Не знаю.

О личном немного: более 10 лет живу с одной и той же женщиной, женат на ней же. Двое маленьких детей от нее же. Люблю всех.

Киношником никогда стать не мечтал. Но с детства люблю кино. Причем хорошее. Чем старше становился, тем сильнее развивал свой художественно-кинематографический вкус, причем, как всегда, самообразованием. Чем больше я рос над собой, тем сильнее сужался круг людей, с которыми я мог говорить о кино. На сегодняшний день это два-три знакомых мне человека.

Книги читал всегда. Причем много. В школе писал сочинения. Причем всегда на отлично. После вливания в кибер-спорт начал писать о нем публицистические статьи — мысли переполняли, удержаться не смог. И как говорил многоуважаемый лично мною Михал Михальгч, «писáть, как и пíсать, надо лишь тогда, когда больше нет сил терпеть». Сил терпеть у меня не было, а силы писать были. Вначале все получалось довольно криво, но весело. После десятка статей отточил технику и выработал свою манеру. Написал пару рассказов или эссе — сам даже точно не знаю. Сейчас пишу книжку.

Хочу снимать кино. Снова переполняет, а бумага не так выразительна, как киноплёнка. Пытаюсь поступить на режиссерские курсы. Эти вроде хорошие. Не поступлю — буду пробиваться так, сам, без подготовки — не впервой.

Не люблю Гребенщикова, но он однажды сказал хорошие слова в ответ на вопрос о его музыкальном образовании: «30 лет слушанья музыки и 20 лет ее исполнения». Я уже 30 лет смотрю кино — пора двигаться дальше.

**СО
БА
КА**

В детстве я хотел иметь собаку. Овчарку. Непременно немецкую. Я видел их довольно много в кино, парочка имелась и в нашей Деревне. Я хотел иметь свою. Ходить с ней гулять, дрессировать. Чтобы я шел с ней по улице, а на меня все смотрели. Чтобы она слушалась меня и мы друг друга любили.

До этого у меня уже была собака. Точнее, не у меня, а у нас, у семьи. Звали ее совершенно не геройски — Тузик. Это была черная дворняга, средних размеров, прибившаяся к нашему двору. Предыдущая часть жизни Туза (я так называл нашего пса, пытаясь придать ему значимость, в первую очередь в своих собственных глазах) была не слишком сладкой — судя по всему, его крепко бивали и часто обижали. Первую неделю жизни у нас он сидел в своей будке и не выходил даже поесть. Он был так рад, что его никто не трогает, и поэтому еду мог за просто менять на покой.

Потом Тузик привык к нам и мы все привязались к нему, мне было лет девять-десять тогда. Я ходил с ним гулять — в лес и в поле. Я водил его на

веревке. Дома он сидел на цепи, а на ночь его отпускали, и он бегал во дворе или даже на улице, никого не трогая. Туз был очень умным, послушным и добрым. Но пережитое в прошлом почему-то навсегда отразилось на его морде. Говорят, что пережитая жизнь отражается на лице человека. Да, это так. Но собачья жизнь тоже отражается в собачьих глазах. Глаза этой черной дворняги были грустны уже навсегда.

Прошло несколько лет, и вот в одно обычное утро мама разбудила меня, села на край моей кровати и сказала, что Тузика убили. Ездили, отстреливали бродячих собак и нашего застрелили — рано утром, на улице, прямо возле ворот его дома. Мама предложила поплакать, чтобы стало легче, но я не смог. Мне не верилось. Нет, я понимал, что его застрелили, но я не верил, я не понимал.

Так всегда бывает. Между тем, когда тебе скажут, что кого-то близкого тебе уже нет, и тем, когда ты это поймешь и ощутишь потерю, всегда проходит какое-то время. Так было не раз. Когда мне исполнилось двадцать, и приехал человек и сказал, что мой отец умер, то первое что заполнило весь разум: «Этого не может быть». И даже когда через час я увидел его, как будто спящего, не было ощущения потери. И когда на следующий день его в гробу выносили из дома, где-то кольнуло, но не выжгло. Второй раз кольнуло, когда человек на кладбище после команды родным проститься с покойным дал команду

закрывать гроб и крышку с уже торчащими в ней гвоздями начали глухо, очень глухо заколачивать на место. И глубокая могила, с валяющейся в ней пустой, распитой и забытой копальщиками бутылкой.

Казалось, что все происходит как в ватном сне. Как не с тобой. И поминки в рабочей столовой, и водка, от которой не пьянеешь, и все эти люди, случайные или сочувствующие наблюдатели, какие-то родственники.

А потом, уже поздно вечером, когда все улеглось, когда в нашем доме остались одни близкие, заканчивалась уборка и начинали готовиться ко сну после тяжелого дня, в тихом месте у крыльца, в темноте, за пределом очерченного дворовым фонарем круга, я сел на маленькую переносную скамеечку. Я очень устал и сидел молча, глядя перед собой в темноту. И тут я понял, что сижу в том самом месте, на котором любил сидеть отец, что я сижу на его любимой скамеечке, которую он сам смастерил. И я отчетливо и ясно понял, что его больше нет. Физически ощутил это — место есть, скамеечка есть, я есть, а его нет и никогда больше не будет. Страшно чувствовать пустоту и черноту. И я начал плакать, тихо, медленно и молча. Мой восьмилетний племянник стоял рядом и увидел, что я плачу. Он пожалел меня, как умеют жалеть дети — начал гладить меня по голове. Тоже молча. Так я сидел на скамеечке, опустив голову, и молча плакал, а он стоял рядом и молча гладил.

После гибели Тузика прошел почти год. Я выпросил у родителей новую собаку. Овчарку! На мое двенадцатилетние мы поехали с отцом в город и на птичьем рынке купили щенка, помесь немецкой и кавказской овчарок. Щеночек был малюсенький, чуть больше недели от роду, он плохо ползал, еще хуже ел, умещался у меня на детской ладони, был без родословной, но зато стоил всего пятнадцать рублей. Ночью он пищал и ползал по полу моей комнаты, пока маме не надоело и она не положила его мне в кровать, там он пригрелся и заснул. Кормил я щенка, сначала макая свой палец в молоко, а потом суя ему в рот — лакать он еще не умел. Назвали парня Дик.

Пес рос быстро, был очень крепок, лохмат и неуклюж и так же, как и все щенки, отличался игривым нравом. Когда Дик подрос, меня ждало небольшое разочарование — полукровка, он и есть полукровка, и хотя немцев с кавказцами специально смешивают, чтобы взять лучшее от обеих пород, моя собака не походила ни на одну из картинок в тонкой книжечке по кинологии, данную ненадолго почитать одним дяденькой. Меня это одно время угнетало, но потом чувство любви к собаке перевесило ощущение ее неполноценности.

Мой пес вырос здоровенным, по рыже-черному окрасу он больше походил на немца, но только шире в кости — это уже от кавказца, впрочем, как и свислые на концах уши и слегка подкрученный

хвост. Дик был очень ко мне привязан, а я к нему. Мы много гуляли, я его дрессировал—он кое-что умел делать, что положено служебной собаке. Правда, и характер у собаки был своенравный. Охотничий инстинкт при виде кур, уток и прочей живности просыпался стабильно, поэтому количество конфликтов с хозяевами попорченной домашней дичи, в том числе и с собственными родителями, не поддавалось исчислению.

Ходили гулять мы с Диком в основном в лес, который рос совсем рядом, неподалеку от нашей Деревни, за полем, немного на горе. Гуляли в основном сами или с моими друзьями—они тоже брали своих собак, но никто из них по красоте и стати не мог сравниться с моим Диком. Гурьбой было весело, но все равно больше мне нравилось гулять самому в лесу, только со своей собакой. Это были незабываемые моменты. Когда она ищет тебя, специально слегка отставшего и спрятавшегося в стороне, в кустах. Ищет и находит. И как вы оба радуетесь этой быстрой встрече. Собака довольна, что нашла хозяйина, хозяин доволен, что у него такая умная собака, и оба—тому, что вы любите друг друга, и тому, что вы снова вместе. Или хорошо наткнуться на зайца, который сидит тихо до последнего момента, а потом вылетает у тебя из-под ног, и ты смотришь, как твой довольно грузный пес вытянулся в стрелу, прижал уши и, слегка повизгивая, усиленно стелет за зверем, постепенно отставая.

Как здорово гулять сырым осенним днем, в долгих и светлых сумерках, когда кругом никого, и пахнет гнилью, и кругом дымка.

Хорошо гуляется зимой, когда выпадает столь редкий в наших местах снег, когда видишь следы, свои и чужие, когда звонко и далеко звучит твой голос, когда ты кричишь изо всей мочи: «Дик, ко мне!» и слышишь сначала удары лап, потом дыхание, а потом видишь, как, обсыпая на себя снег с нижних веток, мчится к тебе твой пес. Хорошо возвращаться летним вечером с прогулки, когда воздух звенит и уже пахнет ливнем, но его еще нет, и, выйдя из леса, ты вдруг начинаешь слышать слишком сильный шум листьев и понимаешь, что это дождь, что он уже начался, и он идет через лес вслед за тобой. И бежать во всю мочь по полю вниз, а твоя собака бежит рядом, повернув к тебе голову, и на середине пути вас застигает ливень. А потом вы идете домой вдвоем, и ты ведешь его за поводок, и все собаки по улице разрываются, и твой тоже отвечает громогласным лаем, и ты еле удерживаешь его, и вы идете оба уставшие и довольные. Потом ты поишь его водой, подливая ее из ковшика в его миску, а потом выносишь ему ужин. Вы засыпаете оба счастливые, а утром ты идешь в школу, и собака, гремя цепью, провожает тебя у ворот, и вы оба знаете, что вечером снова будет прогулка, и вы снова будете вместе, и вы снова будете счастливы.

Детство — счастливая пора. Слава богу, у меня было счастливое детство, и самым теплым и любимым местом остались в нем моя собака и прогулки с ней.

Но детство постепенно заканчивалось, прогулки с собакой превратились в постыльную обязанность, в прикрытие, чтобы покурить и поиграть в карты с мальчишками в лесу. В летнее время я посвящал больше вечеров друзьям и футболу, чем выгулу собаки. И всегда, видя меня, идущего к воротам, Дик выскакивал из своей будки с надеждой в глазах, что мы пойдем с ним гулять, но почти всякий раз его ждало разочарование. Сначала я всякий раз останавливался, гладил его, извинялся за то, что сегодня мы не идем гулять, он облизывал мне лицо и мы прощались. Затем я только трепал его перед уходом, а потом уже просто проходил мимо. Чем в более старшие классы я переходил, тем реже мы гуляли, тем меньше я уделял времени своей собаке, вскоре прогулки прекратились вовсе. Появились новые интересы, друзья, а собака отошла на второй план, как жена, с которой продолжаешь жить, но перестаешь замечать.

Потом, окончив школу, я поехал учиться в Город и Дика видел уже раз в неделю. Я его гладил при встрече, иногда при расставании. Любил ли я еще его? Конечно, любил, но любовь эта уже походила на привычку, на любовь к старикам. Дику уже к тому времени исполнилось десять лет и он

начал стареть. Любил ли он меня по-прежнему? Думаю, да. Хотя последние годы им занималась уже мама — кормила, отпускала на ночь гулять, во двор или на улицу, но собака выбирает себе одного хозяина и остается преданной ему до конца. Дик начал болеть. Потом припадать на задние лапы, редко вставать, начался ревматизм. С болячкой, которую я сам перенес на себе, в нашей семье умели бороться: мы стали колоть ему нужное лекарство. Дик ожил, приободрился, его хватило еще на полтора года.

Он долго и мучительно умирал. Пока решали, усыплять его или нет, все закончилось. Я приехал из Города и повез его хоронить на тележке, в большом ящике. Дик к старости усох почти вдвое, но все еще был достаточно тяжел.

Хоронил я его сам, на пустыре, постепенно превращающемся в свалку, рядом с дорогой в лес, по которой мы любили гулять. Вырыл яму, положил в нее пса и начал закапывать. Мне нечем было закрыть Дика, и после первой лопаты, кинутой на собачью морду, я остановился. Было тяжело. Рука не поднималась. После второй лопаты у меня на глазах выступили слезы. Когда земля прикрыла собаку, кидать стало легче. Никогда бы не подумал, что хоронить собаку будет тяжелее, чем отца.

Говорят, что плохих людей не бывает, бывают только плохие поступки. Это правда. Хоть немного хорошего есть в каждом человеке. Это хорошее

и есть доброта. И чем добрее человек, тем он лучше. Вся доброта закладывается в детстве. Это ласки матери, это руки отца, это друзья, это сказки, это книжки. Это наши мультфильмы. В мамонтенке, плывущем к маме на льдине, больше доброты, чем во всех благотворительных фондах, вместе взятых! Но доброта—это еще и любовь. И не только к родителям, братьям и зятям, но и любовь к животным. Желательно к домашним и желательно к своим.

И лучше всего любить собаку и поступать так, чтобы она любила тебя. Кошки и тем более попугайчики не умеют любить. Жить они умеют, а вот любить—нет. Любовь к собаке ближе всего к любви к женщине. Мама может любить тебя, но еще ей нужно любить папу, твоих братьев и сестер, своих маму и папу, а, может, и соседа дядю Петю, но это уже нас не касается... А собака будет любить только тебя и будет предана только тебе. И ничего не требует взамен. Кроме твоей любви.

Боже, как я хочу еще хоть раз посмотреть в эти глаза.

**ДЕТ
СТ
ВО**

Все называют детство самой счастливой порой. Согласен. Только я бы добавил: еще и самой светлой. В основном. Почти у всех. Мне искренне жаль всех тех, у кого не было детства, или у кого оно рано закончилось, или было недостаточно светлым.

У меня было все — и детство, и достаточное количество света в нем. И свет не исчисляется двумя килограммами мандаринов на Новый год или мультиками по черно-белому телевизору. И количеством подарков ко дню рождения он тоже не исчисляется.

Когда тебе восемь, то набор пластмассовых венгерских солдатиков — это предел мечтаний. Машинка на радиоуправлении — это сладкий сон, который ты готов видеть хоть среди бела дня. Но были ли у тебя тогда солдатики, купили ли тебе машинку — потом, спустя много лет, это уже не имеет значения. И став взрослым, ты понимаешь, что теперь этот плящущийся на чердаке хлам вовсе не важен, но еще ты понимаешь, что там, в детстве, для тебя — ребенка, это тоже было не самым главным.

Главным, что было и что должно быть главным—это мама, это семья, это друзья, это любимые животные, все то живое, что тебя окружает, кто дает этот свет, который будет светить тебе изнутри всегда, что бы ни было после. После. После детства.

Я себя помню очень рано. Иногда мне даже кажется, что я помню лица, наклонившиеся надо мной, когда я лежал в детской коляске (хотя сейчас я склонен считать, что это мне запомнился кадр из какого-то фильма).

Личностью я себя тоже ощутил очень рано, лет в пять. Тогда мне попала заноза в палец и я не смог ее выгнать. Какой-то друг, в упор не могу припомнить эту сволочь, сказал мне, что это все—конец, заноза из пальца дойдет до сердца, и я умру.

Самое первое яркое впечатление из детства—мне пять лет, я иду из детского сада домой, в сандалиях и шортах, по пригорку, недалеко от своей Деревни (дети почему-то не любят дорог, они вечно срезают где попало, а если дорога идет прямо, то ползут по кустам). Так вот, я иду, высоко, передо мной—вся деревня внизу, детсад сзади, далеко слева—школа, в которой я еще не успел побывать, и я мысленно прощаюсь со всем этим, готовясь умирать. Обстановка спокойная, в меру трагичная, ветрено. Но я не плачу, так—значит так.

Не знаю, что было дальше, раннее детство я помню кусками, но раз я до сих пор жив, значит, заноза прошла мимо.

Мне шесть. Улица, скоро вечер, мы играем в войнушки. Я с автоматом и со своим другом залег за камнем недалеко от моего дома. Вдруг кто-то сзади выхватывает припасенный за поясом пластмассовый пистолет и тычет им в спину. Оборачиваюсь — отец. «Папа, не мешай!» Сильные мозолистые руки шофера, черные с кровавыми подтеками — ремонт. Идет с работы. Трезвый. Счастье.

Удивительно, какие именно куски память сохраняет из детства. Мне семь. Мама лупит меня по голым ногам в шортах резиновым шлангом — соседские девочки сказали, что я кидал камни и разбил у них окно. Кидал не я, я только стоял рядом и смотрел, как их дразнили другие пацаны камнями, да и в тот день у многих повывлетали окна — на соседнем карьере снова переборщили с динамитом. Но шлангом получил я. Очень больно. И еще сильнее обидно. Ни за что... Меня редко били, всего несколько раз, и все время за проступки других.

Кстати, про карьер! Разве рядом с вашим домом не добывают камень в открытом карьере? Странно. Рядом с моим добывали. Очень близко. И взрывали его периодически, каждый день, в обед. Всегда неожиданно выла сирена — два гудка, длинный и короткий. Потом, после паузы — взрыв. Если успеть выбежать во двор и угадать куда смотреть, то можно увидеть на горе небольшое облачко пыли.

Восемь лет. Друзья, как всегда, пришли с утра в гости, мы насобирали в огороде полную банку

колорадских жуков и построили для них из песка и хлама концлагерь...

Вечером—мой день рождения. Куча гостей—друзья родителей. Дарят подарки, в основном деньги—такие красивые, важные бумажки, красненькие или синенькие с профилями Ленина. Вроде бы приятно, радостно—как взрослому. Потом, утром, ты их отдаешь маме. У тебя их даже не просят, ты их сам отдаешь—так надо. Потом тебе на них что-нибудь покупают или они идут на семейные нужды, на поправку бюджета после праздничных трат—тетя и дядей надо было хорошо кормить и поить. А у тебя остается чувство пустоты, обмана. И я перестал любить бумажки с профилем Ленина в свои дни рождения.

Если сейчас кто-то придет на праздник моего ребенка с деньгами вместо подарка, то я ему не завидую—я бываю иногда сам себе страшен.

Деньги для ребенка ничего не значат. В первом классе я нашел в школе, на спортплощадке, полтора рубля! Я не знал, что с ними делать. Состояние такое, как если бы я сейчас нашел миллион долларов одной бумажкой с пометкой для ультрафиолетовых ламп «Помечено УБЭП»—немеряно денег, и деть некуда. Тогда мне давали десять копеек в день на обед, хватало на простую булочку. А тут полтора рубля. Не зная куда деть и не признаваясь родителям, я их где-то припрятал, затем потерял и успокоился—чемодан без ручки, баба с возу, ну и так далее...

Девять. У нас появилась машина. Старый «Москвич». Мы стали иногда ездить на море — не на убойно душном и медленном автобусе, не на бортовом колхозном «Газике» с деревянными скамейками, а на своей машине! Я не считал, что это круто, тогда не было такого понятия, — просто удобно и быстро. Самое интересное в поездке на море — это когда начинаешь подъезжать и еще издалека пытаешься увидеть его полосу, немного отличающуюся по тону от синего неба. Когда машина поднимается на последнюю горку и ты наконец его видишь — тоненькую черту под краем неба — море! Скоро. А счастье уже сейчас.

Десять. Улица, возле моего дома, вечер, сумерки. Мы играем в прятки. Пацаны и девчонки. Уже почти темно. Еще чуть-чуть — и вообще ничего не будет видно. Но еще можно играть, еще чуть-чуть. И главное, очень хочется как можно дольше. Все в сборе, все разыгрались, всем весело. Пробегая мимо своей калитки, чую запах жареной картошки из летней кухни — скоро позовут кушать, а из комнаты, где стоит телевизор, через открытое окно доносится музыка заставки «ТАСС уполномочен заявить» — сразу после ужина можно успеть еще досмотреть серию.

Самая запавшая мне в память картинка из детства — закрываю глаза и все еще вижу: улица, сумерки, игра, запах картошки и звук заставки — хочется замереть и прожить в этом месте вечность, хотя, наверное, этот миг и есть уже для меня вечность.

Если вы никогда в детстве не провели хотя бы одно лето в деревне, если вы никогда не играли с друзьями в прятки в сумерках—значит, у вас не было детства, которого заслуживают все дети.

Одиннадцать. Наша улица—я, Макар, Саня и Таксик окончательно объединились с компанией с соседней улицы—Лелей, Барсуком, Олегом и Беланом.

Лето. Вместе играем в чижа на асфальте: надо кидать по очереди палки и сбивать две стоящие друг на друге консервные банки, палки потом надо толпой подбирать, а тот, кто водит, охраняет чиж и салит тебя своей битой. Можно подобрать свою битую и попытаться сбить чижа. Получить палкой по пальцам—ощущение детства.

Леся—заводи́ла, лидер, он лет на пять старше меня, почти взрослый, вечно ходит в трико и майке, шутит и издевается—ему можно.

Макар—толстый и здоровый, мой сосед, из тех друзей, момент знакомства с которыми в песочнице детская память обычно не хранит, на четыре года меня старше. Макар—мой близкий друг, поэтому меня никто особо не трогает.

Саня и Таксик—одноклассники, на год меня старше, живут через три дома от меня, но только по разные стороны.

Барсук—единственный, кто младше меня, но он сосед Лели, поэтому его тоже никто сильно не обижает, кроме самого Лели, но тот обижает всех.

Олег — недоразвитый дебил-переросток, тоже намного старше меня, адаптированный и не всегда буйный.

Белан, как и Саня, — из хорошей семьи, местной интеллигенции — деревенских руководителей.

У нас была веселая компания, или, как сейчас говорят, но раньше не говорили — тусовка. В школе мы друг с другом почти не общались, так как учились все в разных классах, но почти все свободное время проводили вместе.

В двенадцать мне купили велосипед, как почти всем в нашей компании, и тут началось: наезды на клубничные поля и яблочные сады, гонки со сторожами, кроссы по трассам и пересеченной местности, включая водные преграды, регулярные заезды на ставки и прочее, и прочее... Падения, ссадины на локтях и коленях, до этих пор не успевавшие полностью заживать, перестали заживать вовсе... И зачем мы с Саней решили поспорить, кто дальше проедет на велике без рук и без тормозов с той, вроде бы не шибко крутой, горы? Саня проиграл, тормознув перед стаей гусей, я выиграл шрам на левой щеке, не сходивший несколько лет, гусь получил вывих крыла, моя мама — легкий инфаркт, когда меня дотащили домой, короче, довольных было мало... Но без этого было нельзя жить.

Тринадцать лет — апогей футбола. Мы играли в него уже несколько лет — и весной, и осенью, немало зимой, но с летом ничто не могло сравниться

и особенно с этим! Построено два стадиона на пустырях. Матчи с другими улицами. Победы и поражения. Драки после игры — один на один, все смотрят, никто не мешает.

Почти каждый день, когда спадает жара и оказывается посильная помощь по хозяйству ближайшим родственникам, слушаешь, ждешь только одного звука: не начали ли бить по мячу на соседней улице (это значит, что будем играть дома) или: не раздастся ли мерный стук мяча об асфальт — это Леля вышел из дома и стучит мячом изо всех сил, идя по дороге со своей улицы на нашу — значит, сегодня идем играть куда-то большой толпой! Быстро переодеваться! Носки, летом! Сажусь на крыльцо и шнурую кеды. Шнурую быстро, но тщательно — чтобы потом не перетягивать. Время идет медленно. Очень медленно. Минута на шнуровку кажется часом. Напряжение достигает предела. Последний узел — готово! Пулей выстреливаю с места и проношусь десять метров до калитки, на выходе не всегда успевая потрепать не всегда успевающего выбегать из будки пса, выскакиваю на улицу. Там — наши! Там — футбол! Игра начнется еще не скоро, но мучительный обряд шнурования позади. Жаркий летний день, за который не произошло ничего стоящего, позади. Сейчас будет футбол. И я тоже буду играть. Вместе со всеми. До вечера. До темна. До потных футболок и гудящих ног. До ссадин и мозолей — играть. Боже, как это здорово! Спасибо тебе, что все это было!

Четырнадцать лет. Детство начало заканчиваться. Медленно, но уверенно и бесповоротно. Кто-то пошел в армию, кто-то поехал в Город учиться, у кого-то появились другие интересы — компания распалась.

Когда я был маленький, то размер мира я считал таким, каким я его вижу — то есть мой мир ограничивался линией горизонта. Мы жили в предгорье, поэтому линия эта была не сильно далеко и вокруг почти везде была возвышенность, поэтому мир образовывал вокруг меня как бы большую чашу, ограниченную соседними горами, пригорками и полями. Мир для меня ограничивался, но не был ограничен. Он был полон, полная чаша детского счастья. Когда я был маленьким, то думал, что вечером солнце, заходящее за гору, прячется за ней в большую сетку, прикрепленную, наподобие сеток в плацкартных вагонах, к задней стенке горы. А за горой нет ничего — я ведь ничего не вижу, значит там ничего нет. И это солнце жило ночью в этой сетке, и у него было несколько маленьких солнышек — такая солнышкина семья, и им не было там скучно или тесно. Не помню, в какой момент своей жизни я понял, что этой сетки нет и что есть мир и дальше за этой горой. Не помню я и то, когда чаша этого детского мира перестала существовать. Перестала, и все. Остался только свет, свет из детства.

Прошло пятнадцать лет. Я давно уже живу в Городе, в Деревне бываю редко.

Макар поблукал, погулял много лет и тоже вернулся, пополнил компанию деревенских спивающихся полубомжей.

Саня уехал в другой город и тоже бывает очень редко.

Таксик, как и вся четверка с нашей улицы, потерял отца, только его отца доконала не какая-нибудь болячка от пьянки—он повесился сам, от все той же пьянки. Брата его застрелили еще раньше, поэтому не мудрено, что Таксик со своей мамой теперь ярые сектанты.

Леля вернулся домой, женился, обрюзг, но по-прежнему шутит.

Олег, как и Макар, давно уже спустил на себя зеленого змия—тот не разбирает, умный ты или дурак—ест всех подряд.

Барсук чуть не сел, но пока еще ходит, как-то занимал рубль.

Белан ездит на КАМАЗе.

Детство кончилось, оно больше не живет в этих местах. Места остались те же, и люди вроде те же, но все по-другому.

В детстве мы все делаем бегом, все нам некогда—мы спешим, нам везде интересно, везде надо успеть, энергии хватает, времени нет. Все кажется нам слишком медленным, тянется слишком долго. Школа никогда не кончится. Не то что десять лет этот звонок с урока, кажется, вообще никогда не зазвенит!

Мальчику, скачущему на одной ноге и догоняющему дедушку-велосипедиста, абсолютно все равно, как он выглядит со стороны — он спешит, бегом, его переполняет. Я не хочу быть медленным, я не хочу никуда не спешить. Я никогда не хочу думать, как я выгляжу со стороны. Хочу, чтобы меня переполняло. Пусть детство прошло, но я буду скакать на одной ноге.

**БО
ЛЬ
НИЧ
КА**

Всем тем, кому повезло родиться в СССР, впрочем, как и всем тем, кому не повезло родиться в этой стране, но они все равно родились, приходилось хоть раз в жизни, а может, и не раз и не два, лежать в тамошних больничках. Я лежал только в детских, во взрослых не доводилось, но не думаю, что там что-то особо по-другому. В раннем детстве, до своей болячки, лежал не часто, только один раз, после нее — уже постоянно.

Шестилетний мальчик ударился подмышкой о спинку стула при прыжке со стола (зачем он это сделал, непонятно, но тогда, наверное, для него это было очень важно), и у него подмышкой выросла шишка, довольно большая. Болеть она не болела, но мешала руке, пугала мальчика и его маму своим грецко-ореховым размером. Когда традиционные средства современной медицины в виде бабок-повивалок, примочек и заговоров не помогли и в течение месячного срока, пришлось прибегнуть к крайней мере в виде хирургического отделения и одноименного вмешательства.

Он не помнит, как врач кричал на маму, помнит только кислородную маску, как у летчиков, над его лицом и слова: «Сейчас полетаем». Две недели потом мальчик ходил по коридорам больнички, прижимая шахматную доску к здоровому боку, и выискивал очередную жертву, уцелевшую еще от его приставаний и разгромов. Говорят, что этот мальчик был я.

Перечислять все мелкие детские ранения, ссадины, царапины и ушибы—тогда многие из этих вещей называли вавками—не хватит и книги, да и любой порядочный мужчина может своими детскими ранами заполнить не одну сотню страниц, но это никому не интересно, в том числе и мне самому. Это все нормально для нормального мальчика. Так было и у меня, но потом, когда пришла болезнь, я перестал называться нормальным, я стал называться болезненным.

Вообще, раньше я не понимал дурацкий тост «За здоровье!» В молодости его я вообще не понимал, когда появились дети, стал понимать хотя бы тост «За здоровье детей!», потому что знаешь, что самое главное, что у тебя есть—это они, а самое ценное, что есть у них,—это оно. И не обязательно за это каждый вечер быть вдрызг, но обязательно постоянно за этим следить и об этом помнить. Каждый день и часто—некоторые ночи.

В детстве ты не понимаешь, почему так сильно кричала мама, когда соседский мальчишка вбежал

в твой дом быстрее тебя и выдал: «Тетя Люся, ваш сын разбился!» А забежал он быстрее тебя, потому что ты сейчас не то что бежать—идти не можешь и стараешься не смотреть на разодранную ногу, а велику еще хуже, а его тоже надо тащить, и пока даже и не больно, просто чувствуешь мокрый носок, и нога...

Та тетя-учительница не была виновата. Ну не знала она, что задержится на три часа по магазинам, да и зима вроде бы не такая уж и холодная была, и дети, которых она повезла на экскурсию, когда их достаточное количество, на улице всегда найдут, чем заняться—тут есть деревья, тротуар, машины опять же ездят, не скучно в общем. Ну, промерзли немного—с кем не бывает, ведь не все же заболели потом! У меня простуда началась после этой школьной поездки. Обычная простуда, ничего особенного, быстро оклемался. В понедельник уже в школу пошел—пятый класс, еще учиться и учиться, нельзя пропускать. Только ноги почему-то до конца не разгибаются—интересно так, только неудобно немного, но лишь бы родители не заметили. Во вторник что-то мальчику снова поплохело—пусть лежит в кровати. Говорит, что ноги тянет—на погоду, наверное... Мальчик остался один, но встать уже не смог. Хорошо, что на обед приехал отец, спокойно отнес мальчика в машину и повез в больничку. Там тоже спокойно так сказали, что хорошо, что не привезли в среду, а то потом бы до конца своих дней катали бы его в колясочке.

Вы думаете, что ревматизмом, полиартритом и миокардитом нельзя заболеть одновременно и в одиннадцать лет? Залечивайте простуды и не пытайтесь это проверить.

Каких-то шесть недель постельного режима, еще шесть недель обычного — и вы практически свободный человек, можете ехать в санаторий хоть на полгода. И мальчик поехал. Потом еще один раз, а потом еще. За маленькие ошибки иногда приходится много платить, и особенно много, если это здоровье детей.

В санаториях всегда было весело — такая маленькая, совместная и в меру самостоятельная детская жизнь. Небольшая, мягонькая школа жизни. Рассказывать о ней много нет ни места, ни желания. Самое интересное, что было, — это беганье за волной. Тот санаторий был на берегу моря, берег был песчаным и пологим, прибойная волна — длинной, а во время шторма еще длиннее — метров десять-пятнадцать, а возле корпуса был небольшой пирс, деревянный и на сваях. Когда во время шторма волна начинала катиться назад, то нужно было бежать за ней к морю вдоль пирса и в самой дальней точке хвататься за перила и подгибать ноги. Волна с грохотом и брызгами проносилась под тобой, обратно на берег, а ты висел, ждал, когда она вернется и снова оголит дно, тогда ты спрыгиваешь и несешься назад, а море бежит за тобой — кто быстрее. Круче аттракциона в детстве у меня никогда не было! Если

ты был крут и тебе повезло с волной, и ты добегал почти до самого края пирса, то можно было долго провисеть, ловя подходящий момент для возвращения. Если же ты не был крут, а тормознут, или просто не повезло с волной или с родителями, то ты шел домой, то есть в корпус — переодеваться. В этом корпусе ночью работал другой классный аттракцион с подростково-эротическим уклоном — лазанье между балконами четвертого этажа в комнаты к девочкам. С ними можно было потусоваться и днем, но это не то — ночью совсем все по другому. И даже если девчонки были не очень и днем ты на них даже не обращал внимания, то ночью, попав в их комнату (пускали в любое время и в любой номер — у них, видать, был свой, любимый женский аттракцион — ждать), все становилось по-другому, интереснее и привлекательнее... короче, обыкновенное, нормальное начало полового созревания.

В общем, у кого какие были санатории в этой жизни — у меня с аттракционами. Но хотел я рассказать не об этом. А об одной больничке. О последней детской больничке в моей жизни, точнее, в моей детской жизни.

Так вот, больничка как больничка, вполне приличная — областная, и люди в ней хорошие работают, и врачи тоже хорошие, и операции делают важные, и детишек спасают, и вылечивают даже некоторых. И делают там операцию, очень нужную операцию, если дело до нее дошло и без нее

никак — нужно делать, а то потом будет хуже — всю жизнь придется гундосить с лошадиным лицом и открытой челюстью. Я говорю об удалении миндалин. В простонародье, откуда я, собственно, и вышел и особо себя от него не отделяю, эту операцию называют просто: рвать гланды. Так вот, если вам или вашим детям когда-нибудь предложат операцию по удалению миндалин, не верьте — вам или им будут именно рвать гланды!

Мне предложили сделать эту операцию поздно — уже стукнуло четырнадцать лет, но я по-прежнему оставался болезненным парнем, часто хватал ангины и простуды — мама согласилась. Забегая вперед, скажу сразу, что операция помогла — я стал болеть реже, а когда еще через пару годиков послал подальше медицину, запрет на физические нагрузки и занялся спортом, то болеть практически перестал. Ревматизм с тех пор подзабыл, как я выгляжу, а детская медицинская карта (взрослой у меня нет) пылится в шкафчике, я ее периодически достаю, чтобы пугать особо чувствительных педиатрш на профосмотрах.

Удаление миндалин. Не знаю, как пытали в ЧК, но если они так делали операции своим детям, то я теперь не сомневаюсь в причинах победы Красного Трора над Белым Движением.

Тебя с утра не кормят, чтобы ты не заблевал персонал. Потом наряжают в халат, надевают сверху балахон из двух спитых между собой пеленок с ма-

леньким отверстием для рта и отправляют томиться в предбанник. Если бы я тогда умел острить, как теперь, то непременно бы сказал: «Парни, будут расстреливать через рот!» В тот момент тебе еще может быть весело, хотя фоновый рев из-за двери с частыми вкраплениями детских криков мог насторожить кого угодно.

Затем болванчиков с пеленками на голове по одному заводят в пыточную. И зачем мне надо было ухитриться взглянуть из-под паранджи на набор инструментов на столике — ни одного полезного для своего здоровья я не заметил. Потом тебя привязывают ремнями к креслу за все движущиеся части тела, в том числе и за голову. «Это электролечение? Только не переборщите с вольтами!» — продолжал бы шутить герой американской комедии, но мне было уже не до смеха — я почувствовал, что полный песец подкрался на мягких лапах и начал недобро тереться о мои ноги...

Что они делали у меня во рту, я не могу рассказать — не видел, представлять мне тоже особо не хочется, только раз, мельком, когда я особенно удачно пытался вырваться и отверстие для рта ненадолго стало отверстием для одного глаза, я увидел девочку лет десяти на соседнем кресле... Хорошо, что я мальчик, сильный, смелый и меня держат всего два санитары, а не половина отделения.

Закончив с моими гландами, ковырялы от медицины неожиданно нащупали у меня увеличенные

аденоиды. После короткого и крайне молчаливого совещания был задан вопрос жертве: «Удалять будем сразу? Или потом еще раз придется?» И то ли поняв, что я вряд ли к ним быстро вернусь во второй раз, то ли истолковав мое топанье ногами и мычание как положительный ответ, доктор достала такой крючок, что я его рассмотрел даже сквозь пленку, поняв, что это последнее, что я вижу в своей жизни, и надо это запомнить посильнее. Не думал я— хотя, как и чем я мог тогда думать, если мозг у меня еще в начале операции залез в мошонку и даже не выглядывал оттуда— что аденоиды прикрепляются изнутри к черепушке в районе темечка. Но доктора обнаружили их именно там. Аденоиды сражались недолго, но крайне жестоко.

Я слышал, что новокаин— хорошее лекарство, но мне он почему-то не помогал во время операции. Когда меня довели до палаты и положили на кровать— самостоятельно после этой операции по переделке человека, практически никто не в состоянии передвигаться— я решил, что все уже позади, и сейчас боль начнет утихать и мне станет легче, но все пошло не так. Новокаин таки хорошее лекарство, но есть небольшой минус— оно не может действовать вечно. Через час боль была такая, что я бил стенку всеми конечностями, а у меня к тому времени их было уже с десяток и всех их ломило, в голове бесконечно взрывалась граната, жгло место, откуда вырвали горло, длилось все это ровно год или два.

Наверно, где-то в эти обеденные часы кошмара мой организм на клеточном уровне принял решение никогда больше не прибегать к помощи бесплатной советской медицины, да и любой медицины в принципе. Мозг в решении этого вопроса участия точно не принимал, он совершал мучительное возвращение из района половых органов назад, в опустевшую мозговую коробку.

После обеда пришел мой новый друг из соседней палаты (в больницах обычно быстро сходятся) и принес половину огромной дыни. Я и в хорошие дни дыни-то не очень, а тогда особенно не хотелось. Я этого сказать не сумел—я потом еще несколько дней ни сказать, ни проглотить толком ничего не мог, но друг что-то такое прочел в моем лице и ретировался раньше, чем я снова начал колотить в стену.

На соседней койке в таких же конвульсиях бился мальчик-даун, года на три меня младше—с ним сегодня делали то же, что и со мной. Это сейчас я знаю, что он был дауном, а тогда он был для нас просто умственно отсталым, дурачком. Третьим парнем в нашей палате был мальчик из хорошей семьи, ему не делали операцию—он просто лечился, но в этот день я его не видел, он стратегично потерялся, появившись только под вечер, когда светопреставление сошло на нет.

Это был один из самых ужасных дней в моей жизни, и дело тут не в операции и не в боли после нее—я готов был снова перенести все это, лишь бы

не было того, что произошло после. Хотя, может, так оно и должно было быть. Не знаю.

Как я уже сказал, это был ужасный день, а до этого день был прекрасным—я еще не знал, что меня ждет, я был второй день в больнице, я уже всех знал, все знали меня, я был уже из старших, крутых, не то что основная мелюзга. Все утро мы с новым другом тусовали по отделению, веселились. А в тихий час мальчик из моей палаты, который из хорошей семьи, издевался над другим мальчиком из моей палаты—мальчиком-дауном, дурачком. Нет, он его не бил и не обзывал, он просто прикалывался, как сказали бы сейчас, но тогда еще так не говорили. Мальчик из хорошей семьи шутил над дауном: он делал вид, что кидает в форточку свой носок, а сам прятал его в кулаке, показывая потом это носок дурачку. Умный мальчик обманывал не очень умного. Нескольких демонстраций хватило дауну, чтобы поверить в чудесную форточку, и он начал бросать в нее свои вещи—носки, трусы, что-то еще. Все улетало с пятого этажа вниз, и ничего назад не возвращалось. Не очень умный мальчик не мог понять в чем дело и продолжал с усердием пропихивать на улицу одежду, пока она не закончилась—то ли у него ее было не очень много, то ли он в конце концов понял, что что-то не срабатывает, но он перестал это делать и вернулся на свое место.

Все это время мальчик из хорошей семьи заливался смехом у себя на кровати, в перерывах между

взрывами хохота подбадривая дауна. А я лежал на своем месте с книжкой и молча наблюдал, тоже, возможно, несколько раз засмеявшись над этим издевательством. Я был старше их обоих и мог бы в любой момент прекратить это, но я не прекратил. Нет, мне не нравилось то, что они делали—возможно, все произошло слишком быстро и непредсказуемо—я в первый раз вплотную столкнулся с неадекватным ребенком, возможно, я сам недавно вылез из шкуры вечно униженного изгоя и мне хотелось глянуть на это дело со стороны—не знаю, не помню. Дело не в этом. Дело в том, что я мог прекратить и не прекратил.

А после тихого часа пришла медсестра и спросила, где вещи не очень умного мальчика. Мальчик из хорошей семьи сказал, что дурачок сам их выкинул, и формально он был прав. В этом месте я снова промолчал—сдавать было нельзя, это уже не по-пацански, да и по шапке могли бы получить оба за такие шутки над инвалидом. А тот только показывал на окно и мычал что-то на своем—даун толком не говорил.

Но это было вчера—вчера был хороший день и к вечеру инцидент забылся—часть вещей принесли, часть потерялась, но тогда до вечера произошло еще столько событий, что эпизод с форточкой быстро затерся.

А сегодня, а сегодня мне вообще небо в овчинку или того меньше—думал, что изуродуют с утра или

загнусь в обед, хорошо, что хоть к вечеру боль стала отпускать.

А ночью, уже после отбоя, к дауну пришла его мама. Оказывается, что и у дурачков есть свои мамы и что она любит своего сына, а он ее. Она пришла проведать его после операции, а он положил свою голову ей на колени и заскулил как собачонка, а она гладила его. И мне стало стыдно, так невероятно стыдно за вчерашний день, хотелось вскочить с постели и бить ногами мальчика из хорошей семьи, а перед мамой дауна извиниться, нет, не перед ним — он бы все равно ничего не понял, а именно перед ней. Почему она пришла так поздно? Работает допоздна или живет далеко, но все равно пришла. Папы, судя по всему, нет — тогда они пришли бы вдвоем, ведь поздно уже, и сын после операции, ну или ему не нужен такой ребенок — некоторым папам и нормальные дети не всегда нужны. А она пришла одна и поздно, а ее малыш скулит у нее на коленях, и он никогда не станет нормальным, и она это знает, но все равно любит — это было видно. Поэтому я хотел встать и извиниться именно перед ней. Но я не встал и не извинился, и не стал бить другого мальчика — было уже поздно, делать что-то надо было вчера, я просто тихо лежал, боясь пошевелиться весь долгий час этого молчаливого свидания.

А на следующий день мне стало легче — боль ушла. Я начал пить теплый бульон, было больно глотать и говорить. К мальчику из хорошей семьи тоже

пришла мама, и я снова стал свидетелем свидания. Но этот парень мне уже не нравился—это чувство распространялось и на его маму, и на его папу, который тоже, кстати, не появился, но чувствовалось, что он где-то есть.

И я снова промолчал, но тут говорить что-либо было уже совсем бесполезно.

А еще на следующий день мы запускали бумажные самолетики. Это сейчас я уточняю, что «бумажные», потому что теперь уже появились тысячи красивых пластиковых моделей и игрушечных, но летающих самолетов, а раньше были только одни—просто самолетики из бумаги. Мы их надевали, разорвав общую тетрадь из девяноста шести листов на отдельные листочки—получилась почти сотня белых в тонкую клеточку самолетиков. Мы их делали весь тихий час, а потом, после полдника, запускали с балкона. Это было очень красиво, очень: часть из них еще летела, часть уже приземлилась, а мы все запускали и запускали...

Мы—это я со своим другом и еще двое пацанов из нашего отделения. Для пущей лирики я мог бы сказать, что с нами был и даун, и мальчик из хорошей семьи. Но их с нами не было, с дурачком никто не хотел возиться, а хороший мальчик на поверку оказался не очень хорошим и по остальным пунктам, не считая форточку, про которую никто кроме меня не знал. А у пацанов с этим строго: если ты говнюк, от тебя быстро отворачиваются.

Для меня это, последнее в моей жизни пребывание в детской больничке — довольно четкий этап, этап на котором закончилось мое детство. Взросление в жизни человека, такое как уход из детства, как приход в зрелость, в старость, или более мелкие вешки, происходит не по календарю, но и не плавно, а такими ступеньками, когда что-то в человеке накапливается, вызревает, а потом происходит и человек перековывается: день-два, неделя, раз — и проскочил какую-то отметку, раз — и что-то щелкнуло, и ты уже на следующей ступеньке, и ты уже стал немного другим, потом снова год-два-три внутренней, не зависящей напрямую от тебя подготовки — и снова щелчок, и снова новая ступенька...

После этой больнички я стал чуть взрослее, немного другим, практически попрощался с детством. Не знаю, что сильнее повлияло — то ли болевой шок, то ли угрызения совести за то, что вовремя не заступился за того мальчика, то ли эта сотня белых бумажных самолетиков. Не знаю, но что-то внутри меня щелкнуло.

Что именно щелкнуло — это уже не важно. Важно другое: что с тех пор я ни разу не промолчал, когда кто-то кого-то пытался унижить, и я уже точно знаю, что никогда не промолчу и впредь.

**ШКО
ЛА**

На выпускном в детском саду мне не дали портфель, с которым потом надо будет ходить в школу. Всем на линейке раздали по портфелю, а мне нет. Моя мама была воспитательницей, она отвела меня в сторону и сказала, что мне потом дадут портфель, и не такой, как у всех, а лучше. И мне его потом действительно дали. Вроде бы он был синий, а у всех остальных — коричневые. И мой был как бы красивее и с ляжками — настоящий ранец, а у остальных просто коричневые с ручкой, так себе портфели. И я вроде бы должен был радоваться, но я не радовался. Мой портфель мама вручила мне на следующий день после выпускного, одна, в спальне детсадовской группы, но я не радовался. Мне не нужен был особый портфель, мне хотелось получить обычный, как у всех, но зато вместе со всеми, а не один на один во время тихого часа как бы исподтишка.

А вот в школу я идти хотел. Хотя почти все дети не хотели, и это было даже круто — на вопрос взрослых, мол, хочешь ли идти в школу, отвечать: «Нет». Это считалось нормальным, взрослые за это не ру-

гали, а хлопали по плечу и говорили, что ничего, тебе со временем понравится. А я отвечал, что да, хочу в школу. И меня не хлопали по плечу, и сказать им было нечего. Я всю жизнь хотел быть как все, но у меня это не получалось. Всю жизнь я был один и как-то сбоку.

Я давал первый звонок. Но я этого не ожидал — меня не предупреждали, хотя взрослые наверняка знали заранее. Сейчас я понимаю, что других кандидатур не было и быть не могло: я был самым умным мальчиком в группе, моя мама была воспитательницей в нашем детсаду, и у меня был ранец какой-то особенный и вроде бы синий. Меня вела за руку какая-то десятиклассница, вероятно, отличница, а я звонил. Точнее, пытался. Звонок звонил очень плохо: за звон у него внутри отвечала гаечка на веревочке, а так как я красиво держал звонок за ручку снизу, а колокольной частью вверх, то гаечка где-то пряталась внутри, за что-то цеплялась и звонить нормально отказывалась. Мы шли с отличницей по кругу, я был малехо ошарашен, так как притомился, как и все первоклашки, стоять на солнцепечной линейке, пытался звонить в незвонящий звонок и довольно глупо улыбался. В конце концов, я начал трясти его сильнее, гаечка извлекла несколько печальных жестяных перезвонов, и мы дошли до высокой лестницы. Затем через колонки громко включили какой-то школьный вальс и все пошли вверх, в страну тяжелых знаний.

В школу ходить мне нравилось, но недолго. Учиться я любил, а вот в школу ходить, оказывается, не очень. Меня разрушала советская система образования — эта рутина, зубрежка, тягучие и вязкие, как смола, уроки. Я любил физкультуру, труды и перемены, там была хоть какая-то свобода. Математику не скажу, что любил: как по мне это несколько ненормально любить математику, это как с детства мечтать работать кассиром, просто она мне легко давалась, и я решал все контрольные за пол-урока. Русский язык был крайне скучным предметом, а вот литературу, как и историю, я просто обожал — там было очень интересно и немного посвободнее, чем на других уроках. Учителя по русскому и литературе всегда зачитывались моими сочинениями вслух, стоя посередине класса. Это мало кому нравилось, в том числе и мне самому.

В пионерской организации всего за несколько лет я сделал головокружительную карьеру от старосты класса до горниста — очень быстро стало понятно, что я никак не рвусь вообще к общественно-политической жизни, к тому же на горне в классе никто играть не умеет, а у меня по крайней мере получается лучше других... И я до конца пионерии трубил одну простенькую мелодию на всех торжественных мероприятиях, на вносах-выносах знамен и прочей ерунде, стоя рядом с барабанщиком опять-таки где-то сбоку.

Деревенские учителя были довольно слабые, но зато по большей части хорошие — плохой человек в школу работать не пойдет. Но это я сейчас понимаю, что уровень преподавания у нас был не очень, а тогда, с третьей парты, все казалось вроде и ничего. Но однажды у нас год проработала учительница русского из города. Ей там как-то не досталось места на тот учебный год, и она ездила к нам в деревню учить местных балбесов, в том числе и меня. Я не мог определить тогда, что она очень хороший и сильный учитель, сидя в своем пятом классе. Мне просто было очень интересно на ее уроках, и даже на русском, не говоря уже о литературе, которая тогда у меня стала любимым предметом, и не только уроком, а вообще. Она мне приоткрыла целый мир — как и чем, я уже не вспомню, но после года ее преподавания во мне что-то изменилось. Это был настоящий учитель. А потом через год она уехала к себе в город и на ее место пришла другая, которая до этого учила младшеклашек, а теперь поступила заочно в институт, и принялась третировать уже старшие классы. И я впервые начал конфликтовать с преподавателем — я был поражен разницей, подходом, новыми дурацкими требованиями по шаблону. Книги теперь можно было читать по рекомендованным главам, а не полностью. Как можно читать книгу по главам, что вообще тогда в ней можно понять? Или все это лишь для того, чтобы правильно ответить на вопросы о книге, которые написа-

ны в конце учебника? Меня это раздражало, и я об этом не молчал. Мне было просто неинтересно, но я в свои тринадцать лет не мог ничего аргументированно противопоставить, и мое недовольство выростало лишь в ссоры с новым учителем. Всеми классу было все равно, этим девочкам-отличницам и мальчикам-хорошистам, которые на четыре-пять знали школьную программу и что-то там писали аккуратным почерком в своих аккуратненьких тетрадках. Остальных, кто жил по принципу «лишь бы не спросили», эти проблемы тем более не касались, для них это и не было какой-либо проблемой. А меня, за то, что я постоянно задавал неудобные вопросы, регулярно выгоняли из класса и половину уроков как литературы, так и истории я проводил в коридоре.

История стала моим вторым любимым предметом. Сама историчка была намного интеллигентнее истерички по русскому, но она тоже не очень любила, когда с ней постоянно вступали в споры по принципиальным для меня вопросам, задаваемым с несдержанностью юношеского максимализма и отсутствием какой-либо толерантности, и меня тоже отправляли в коридор. Из окна коридора возле кабинета русского был виден парадный вход, там всегда кто-то ходил, и было не очень скучно, а из исторического коридора хорошо просматривался школьный стадион, там часто кто-то бежал вдалеке в разноцветных спортивных костюмах, а на лавоч-

ках сидели освобожденные от физкультуры, но обязанные присутствовать на уроке, одетые в одинаковые коричневые робы учащихся страны рабов.

Но надо отдать должное обоим моим учительницам — они не снижали мне отметки, хотя я думаю, что их до сих пор трясет от моей фамилии.

В детстве я дружил с Мишей. В детстве я вообще много с кем дружил, а с Мишей мы ходили в одну группу детского сада. Хотя у нас весь класс в нее ходил, но с ним я дружил больше всех. Вместе с Мишей мы поначалу сидели даже за одной партой, но потом очень быстро выяснилось, что он — будущий троечник и хулиган, и нас быстренько рассадили, вероятно, для того, чтобы он меня не испортил. Меня посадили с девочкой, которая стала хорошисткой с перспективой перейти в отличницы. Но когда в пятом классе ее пересадили от меня обратно, то она резко стала снова просто хорошисткой с перспективой в троечницы. А со мной посадили новую девочку, с которой нас в следующем году принимали первыми в пионеры, потому что она стала второй по успеваемости в классе. Потом почуяв неладное, классная и ее отсадила и та еле закончила школу на тройки. Такое соседство со мной способствовало взлетам и падениям в учебе нескольких людей, пока в девятом классе меня не посадили с Драконом. А так как он уже давно и прочно переваливался с двойки на тройку, к тому же плохо читал по слогам, писал еще хуже и не стремился ни к каким

вершинам знаний, да ему бы и не поверили, поэтому наше дальнейшее соседство никак не отразилось на его оценках. Дракон состоял из примерно ста килограммов мышц, провел большую часть школы на тренировках, сборах и чемпионатах, выигрывал к шестнадцати годам все, что можно выиграть, и к старшим классам мы начали видеть его уже регулярно. Его посадили со мной и учителя ставили ему тройки теперь за отсутствие прогулов и моргающие глаза вместо ответов.

Но я хотел написать про Мишу. Точнее я все про себя пишу, но этот кусочек будет через Мишу. Его от меня в первом классе пересадили к простой девочке, они делили вместе тройки, двойки и крайне редкие четверки на двоих и просидели вплоть до выпуска в 9-м классе. К концу начальной школы уже было понятно, кто и как будет учиться, точнее, уже учиться. Но существование в тепличных условиях одного учителя до 4-го класса еще как-то не так заметно дифференцирует разницу в оценках и знаниях все идут еще более менее кучно, обрываясь резко вниз лишь в особо тяжелых случаях. Я всю начальную школу старался быть как все и со всеми, и вроде бы это получалось. Я был одним из лучших, но это меня никак не выделяло и никого не раздражало. Проблемы начались, когда мы вырвались из мирка одного кабинета на просторы всей школы к разным учителям. Резко стало понятно, что большинство у нас уже троеч-

ники, немного хорошистов, а в основном хорошисток, много двоечников, а вот отличников как-то катастрофически мало и я как-то среди них. Не то чтобы я рвался получать хорошие оценки—я никогда особо ничего не учил и тем более не зубрил, просто мне нравилось учиться, я привык все делать хорошо, и поэтому учеба мне давалась довольно легко. Классной в 4-м у нас стала довольно взрослая тетка, математичка, она, видать, во мне разглядела нового Эйлера и души во мне не чаяла. Весь класс начал считать, что я у нее в любимчиках и поэтому получаю пятерки и похвалу просто так, хотя другие от нее это видят редко—в основном она брала мальчишек за волосы у самой шеи и водила по классу, на разные лады приговаривая слово «разгильдяй». Конфликт назревал, но я о нем и не догадывался. Все прорвалось, когда в конце учебного года я подрался с Мишей. Он был пониже меня, но очень крепкий и крупный от природы, я же от той смой природы почему-то был довольно худым и тогда еще не очень высоким. Мы к тому времени с ним особо уже не дружили, но и не враждовали. Подрались из-за какой-то мелочи в коридоре на перемене. Миша даже меня не ударил, просто сильно толкнул, так что я отлетел к батарее; я не плакал, хоть и было больно. Но проблема была не в этом, а в том, что это все увидела классная учительница, которая подошла уже в самом конце и, естественно, назначила виноватым Мишу. Он к тому времени

уже был формальным и неформальным лидером среди учеников и все уважительно называли его Миха, и поэтому когда его с мамой на следующий день вызвали к директору, то весь класс, естественно, принял его сторону, а меня зачислили в стукачи. И вскоре началось, точнее, начался, ад. За следующие полгода я стал изгоем и самым презируемым существом в классе. На уроках, пока смотрит учитель, все вроде еще ничего — максимум можно было получить затрещину, когда он отвернется, но что творилось на переменах и после уроков, лучше не вспоминать. И дело тут не в физическом насилии или унижениях, а в повсеместной ежедневной психологической травле при активности одних и попустительстве других. Не то чтобы меня били все подряд, просто многие хотели унижить, и с кем бы я ни вступал в драку (даже если я побеждал, что случалось крайне редко, учитывая мою хилую комплекцию), класс всегда вставал на сторону моего противника и становилось лишь хуже. Я прятался, убегал, защищался как мог, но только не жаловался и не просил пощады. Главной задачей было как-то выжить на переменах и потом незаметно выскользнуть из школы. В каждом детском коллективе есть такой отщепенец, неприкасаемый, объект общих насмешек и постоянных унижений, над которым издеваются все и каждый в классе, точнее, одни, а другие просто смотрят. Это трудно выдерживать и невозможно изменить, это еще хуже, чем с каста-

ми в Индии. Только поменять школу или кого-то убить, но не думаю, что второе поможет.

Это продолжалось почти пять лет, вначале часто, потом реже и больше по привычке, но все равно. В классе, в коридоре, в раздевалке, в спортзале, в столовой, в туалете, в парке за школой—езде. Пять лет ада. Маме я ничего не рассказывал, но она догадывалась сама и несколько раз, особенно вначале, предлагала сменить школу—для этого надо было каждое утро ездить в другой поселок, а ещё это означало сдать. Но дело даже не в этом я просто хотел быть как-то тут вот, со всеми, как все, даже несмотря на все унижения, хотелось стать своим для своих. Но как-то не получалось. Я по-прежнему учился лучше всех—умный мальчик с отличной памятью, при этом учителя продолжали выгонять меня с уроков за пререкания, а класс не считал за человека. Я пробовал и курить, и играть с ребятами на деньги, но я никогда уже не мог стать для них своим, всегда оставался где-то сбоку и намного ниже. В класс приходили новенькие, они проходили трудный этап вживания—кто-то быстрее, кто-то медленнее, со своими унижениями и побоями, но они все равно не становились на место самого последнего человека в классе, потому что это место было занято. Занято мной. Мне сейчас легко давать себе тогдашнему советы: драться жестче и до конца, а не отбиваться, перевестись все-таки в другую школу или стать в чем-то круче других, чтобы тебя зауважали—уче-

ба в этом плане не котировалась. Но это сейчас. Тогда, да и теперь у одиннадцатилетнего ребенка в такой ситуации нет шансов изменить ее. Единственный путь стать своим — это скатиться в учебе, не выделяться, постоянно прогибаться, и тогда, возможно тебе достанется место одной из «шестерок» в окружении лидеров. Но я такой судьбы не хотел. Я хотел стать своим, оставаясь при этом самим собой, но это почему-то не получалось. И поэтому приходилось лишь терпеть и ждать. Может, из-за этого я стал таким закрытым и упертым? Может быть. Но не думаю, что только из-за этого, много чего еще со мной происходило и плохого и хорошего в те годы. А поскольку все рано или поздно заканчивается, постепенно закончилась и эта травля — все немного подросли, перетасовались, и к 9-му классу меня уже не трогали, и я с некоторыми, а потом со многими, в том числе и моими бывшими врагами, начал снова дружить. Затем многие троечники и хорошисты ушли в техникумы и училища, остались в основном лишь отличники и двоечники, одни — доучиться до института, другие — до армии. Нас соединили с параллельным классом, и началась совсем другая жизнь...

У нас образовалась небольшая компашка, и последние два класса пролетели в каком-то чудесном сне, вероятно, в качестве компенсации за те темные пять лет отщепенства. Учиться я особо хуже не стал, но ходил в школу теперь больше не за знаниями,

а за развлечениями. Я хоть и оставался одним из лучших учеников, точнее, просто лучшим учеником (была еще была парочка лучших учениц), но у меня выходили в аттестате несколько четверок, поэтому мне предлагали их пересдать, чтобы получить медаль. Я отказался, так как тогда особо не понимал, зачем она мне нужна, впрочем, не понимаю этого и сейчас. На последнем звонке я нес на плече первоклассницу (к семнадцати годам я заметно вытянулся и окреп), и в руках у нее был все тот же звонок с гаечкой. Я заранее предупредил кроху, что его надобно держать колокольной частью вниз, и гаечка на этот раз звенела намного веселее.

А после последнего звонка были экзамены — выпускные, пять штук, которые я, естественно, все сдавал на пятерки. И вот последним была моя, пусть уже не столь любимая, но по-прежнему преданная математика. Я за двадцать минут решил первые четыре задания и вот уже с полчаса сидел над задачей про треугольники, и в конце концов понял, что я ее не решу и это будет четыре балла. Я начал потеть и тереть лоб, но это, как всегда, не помогало. За пятнадцать минут до конца экзамена стало понятно, что об эти треугольники споткнулись все, в том числе и остальные две отличницы и пятерок не будет ни у кого. Моя первая классная руководительница уже к тому времени была на пенсии, и нас, покидав от одного учителя к другому, на выпускной год сунули к новой математичке.

Она, видя такие дела на последнем, ее экзамене, нас всех троих, сдававших до этого все на пять, по одному вызывала в коридор и молча, показывала решение последней задачи. Вначале я не мог понять, зачем кто-то из приемной комиссии зовет меня в коридор—я был взволнован, что не могу победить треугольнички, времени оставалось мало, я волновался и хотел еще попотеть над задачкой, но, конечно, пошел, раз зовет начальство. Увидев решение и поняв его, я сразу пошел на свое место, думая на ходу. Я шел в белой рубашке, да и все кругом были в белом и достаточно нарядные, но для меня стремительно все стало таким лживым и грязным. Я сел на свое место, и первой мыслью было оставить задачу нерешенной или еще лучше написать что-нибудь эдакое вместо решения—последнее послание учителям, так сказать. Но я смелодушничал. Мне захотелось иметь пять красивых пятерок по выпускным экзаменам, мне захотелось быть, точнее, остаться первым, одним из лучших. И сделать это любой ценой. И я написал правильное, подсказанное мне решение. И получил свою пятерку, пятую, последнюю. Но я был не рад ей. И тогда, и сейчас. Я упустил возможность получить свою заслуженную четверку и променял ее на нечестную пятерку.

На выпускном бале все, довольные, хлопали, и я, довольный, хлопал. Мне вручили диплом первому, как лучшему ученику и даже говорили что-то

про «великий рост и великие дела», но мне было противно.

Я окончил школу, поступил в институт на государственное отделение, на очень престижный факультет, своей головой. Там был очень большой блат, и пробиться простому смертному из деревни было очень трудно, но я смог — последним в списках среди золотых медалистов, но смог. Перед этим родственники предлагали поехать в другой город, поступать стопроцентно в другой ВУЗ, в который я не хотел, на специальность, которая была мне не интересна — я отказался. Я хотел поступать именно туда, куда поступал, наперекор родителям, практически без шансов на успех. Я никого не слушал, делал, что хотел, и добился своего. Правда, буквально через полгода учебы, после первой сессии, я очень сильно разочаровался в нашей высшей школе, в которой студенты делают вид, что учатся, а преподаватели — что учат, забил на учебу, резко стал троечником, прогульщиком, нарушителем дисциплины и провел в стенах института прекрасные пять лет своей жизни, но это уже совсем другая история.

В школу я все-таки ходил не зря, она меня все-таки кое-чему научила, и не как вычислять треугольнички, мне это ни к чему — я научился в ней никогда не сдаваться и не размениваться. Не сдаваться и не размениваться. Не сдаваться. И не размениваться. А еще — что вовсе не обязательно стремиться быть как все.

**ЗАВЕ
ЩА
НИЕ**

Все мы умрем. И я, к сожалению, не исключение. Всем хотелось бы пожить подольше, и тут я тоже, к счастью, не исключение. Нет, мне не хотелось бы продлить свою жизнь, дожить до ста лет и последнюю четверть из них влачить дряхлое существование своего организма на различных стимуляторах и препаратах. Я хотел бы больше пожить молодой, полноценной жизнью, получать от жизни удовольствие или дарить его другим, ходить или лучше бегать, спать по ночам или не спать, и чтобы решать это должен был бы я, а не мой организм вкупе с моим врачом.

Такой жизнью я хотел бы пожить подольше. Но это невозможно. Все мы умрем. Все мы после смерти превратимся в кусок гниющего мяса, зарытого на глубине пары метров. Нас будут есть черви, а наши добропорядочные родственники будут приходить на наши могилки, делать грустные лица, стоять напротив креста или памятника и смотреть на наши портреты, совсем позабыв, что кресты ставятся в ногах у усопших и теперь вся скорбящая братия стоит

дружно на голове покойного, и умиленно смотреть на его портрет на граните. Затем достаются припасы с выпивкой, угощают всех, в том числе и покойного, от которого время уже мало что оставило, а цветочки все цветут. Пафос и предрассудки, ненужные церковно-языческие обряды и схоластика.

Я не хочу, чтобы у меня топтались по голове, даже после моей смерти, не хочу в памяти своих потомков остаться портретом на куске гранита, чтобы на моей могиле устраивали тризны, я вообще не хочу привлекать к себе внимание, ни сейчас, ни тем более после смерти. Я не хочу, чтобы у меня была могила.

В детстве, в четыре года, я побывал на похоронах своего деда. Обычно в столь юном возрасте дети не помнят себя и крайне редко помнят самые яркие события. Но я запомнил эти похороны. Я помню очень мало. Но я помню главное: как я стою на краю могилы, на куче земли вместе с другими родственниками. А потом, после похорон, было откровение, когда мне сказали, что деда не будут выкапывать обратно, что он умер и это навсегда. Все детство меня преследовал кошмар, по ночам и вечерам я видел черную могилу в разрезе и опускающееся в него тело в белом саване. Это было тело деда, но я представлял и понимал, что рано или поздно это буду я. Никогда не водите своих детей на похороны.

В детстве я боялся, что умру. Теперь я не боюсь — теперь я точно знаю, что умру. В детстве я бо-

ялся черной могилы, теперь я просто не хочу в ней лежать.

Все мы умрем. Каждый умрет по-разному. Кто-то тихо и спокойно, как закрывают дверь в детскую, в которой только что заснули дети. Кто-то — в криках и мучениях, как при рождении. Я не знаю, как умру я, но точно не хотел бы умереть глубоким старцем в постели, в окружении позевывающей родни.

Одного человека однажды спросили, как бы он хотел умереть, он ответил: «С криком «Ура!», с автоматом наперевес и со ртом, полным крови». Я тоже бы так хотел, это — красиво, это — по-мужски. Но так не получится. Красиво герои уходят только в кино и книжках. В жизни они мочатся под себя кровью, орут от боли и вспоминают маму.

Я не хочу, чтобы у меня была могила. Я хочу, чтобы меня сожгли. Нет, не на костре инквизиции, а в простом крематории. Сожгли, а пепел развеяли над морем. Желательно над Черным, желательно летом, и чтобы светило солнце, и чтобы дул свежий ветер. Но если будет осень и дождь, то тоже неплохо. Но не ждать же до лета, если я окочурюсь в ноябре? А то придут гости и спросят: «Что это у вас в этой вазочке?» «А это наш дедушка лежит — лета дожидается!» Вазочку, кстати, тоже в море — не надо делать из нее фетиша. А то будет — та же комната, год спустя, другие гости: «А что это у вас за вазочка?» «В ней наш дедушка лежал», — торжественно и стоя отве-

тят родственники. Ну, тогда давайте еще мои носки с трусами по дому развесим — те, которые любимые, и те, которые в последний раз надевал.

Я хочу, чтобы меня сожгли. В пепел. И пепел развеяли. Над морем. Лучше летом, если я, конечно, умру летом. Только вейте с наветренной стороны борта, чтобы пепел отнесло в море, а не рассеяло по палубе, и чтобы какой-нибудь особо языкастый и наглый в деда внучек не прокомментировал выметание моих останков фразой: «С этим старым всегда было много хлопот!»

И пусть дует ветер и унесет прах в море. Но если будет дождь, то тоже ничего — все скажут: «Вот, человека хорошего хороним, раз дождь идет». Не хороним — сеем, то есть веем, товарищи!

И если будет дождь и пепел немного прилипнет к урне, то тоже ничего. Правда, все тот же нахальный внук заглянет в урну, увидит там немного прилипшего праха и скажет: «Да, дедушка все еще цепляется за края жизни!» Но это ничего — вы ее тоже в море. Чтобы не осталось. Ничего не осталось. Только память. И дела. И друзья. И вы. И тогда я всегда буду с вами.

**БА
БУШ
КА**

У меня была бабушка, и я ее не любил. Так бывает. Бывает еще, что ты рождаешься женщиной, живешь в маленькой деревне, всю жизнь работаешь, из четырех твоих детей выживает только один, муж, в конце концов, уходит к другой, и ты остаешься одна. Правда, не совсем еще одна — с ребенком. Ребенок потом вырастает, уезжает учиться, потом в армию, потом женится и уезжает жить далеко-далеко уже навсегда. И тогда ты остаешься совсем одна. Я не представляю, как это, и мне совсем не хочется это представлять. Сын приезжает очень редко, привозит внука или внучку. Но они гостят недолго и с неохотой. Потом тебе становится за семьдесят, сын приезжает в последний раз, вы продаете этот старый деревянный дом, и ты переезжаешь жить к нему, далеко-далеко, в каменный дом. В нем уже живут, кроме сына, его жена и внук с внучкой. Они все тебе не рады. Но никто не обижает, терпят — это называется «досматривать родителей». Комната отдельная, новая, вещи в ней все ста-

рые, перевезенные из деревянного дома. Комната вскоре пропиталась и запахла старостью. Пенсию приносят исправно, никто ее у тебя не забирает и даже не просит, ее можно потратить как вздумается. Вздумывается обычно пойти в магазин, иногда часть отдать жене сына—денег всегда во всех семьях не хватает, и эта семья тоже не исключение. Остальное—на книжку, так положено. Ты это делаешь и семья, в которой ты живешь, это делает. Так надо, так надежнее. День—черездень приносят газетки, их можно почитать. Иногда зовут посмотреть телевизор в общую комнату. Кушать зовут регулярно. По субботам—баня и: «Вам ничего не надо постирать?» По вечерам можно молиться, стоя на коленях в старой ночнушке. Ночью—мочиться в литровую банку (ходить на улицу в туалет темно и холодно). Еще можно было писать письма таким же бабушкам, но далеко-далеко, и иногда получать ответы. С годами писем отправлялось и получалось все меньше и меньше. Все эти занятия занимают небольшую часть времени. Остальное время можно сидеть в своей комнате у окошка и смотреть в него. Все видно: кто пришел, кто ушел, кто подходил к калитке с той стороны, кто выходил с этой, кто прошел по улице, кто проехал. Улицу, правда, видно плохо—калитку лучше, но зато окно большое, с занавесками. За ними можно иногда прятаться, чтобы не видели, что ты за ними за всеми смотришь.

И так — двенадцать лет. И так, двенадцать лет... Двенадцать лет бабушка прожила со мной в одном доме. Что я знал о ней? Ничего. Она обо мне? Еще меньше. Разговаривали ли мы с ней? Да. О чем? Ни о чем. Она приставала иногда со своими старческими разговорами, а они мне были ни к чему, и я уходил от них или просто уходил. Она была не очень умной, немного противной, довольно толстой и старой, и я ее не любил. Любила ли она меня? Не знаю. Тогда я об этом не думал — я был молодой, шустрый, местами умный и немного воспитанный, поэтому я не обижал ее, но терпел. И потихоньку посмеивался. В этой семье все над нею посмеивались и часто раздражались по поводу и без. Она особо не страдала, но и счастливой не была. Внучка вышла замуж, стала жить отдельно, вскоре у нее появился ребенок — правнук. Внучка с мужем жили недалеко и приходили часто в гости с коляской, в которой был ребенок. Ребенок был еще очень маленький и поэтому постоянно спал, но бабушка все равно выносила из своей комнаты табурет и скорее садилась рядом с коляской — это называлось «смотреть за внуками». Потом ребенок подрос, и за ним смотрела уже жена сына, которую шутя и в связи с новым ее статусом тоже стали называть бабушкой. А старой бабушке правнука не поручали, ей вообще мало что поручали в этом доме — вдруг что-то не так сделает и жене сына это не понравится. Но бабушка все равно

что-то да умудрялась сделать, и, конечно, неправильно, и конечно жене сына это не нравилось. Каждый вечер происходил отточенный до нюансов и практически возведенный в обряд разговор о посуде:

—Люся, иди, я помою посуду.

—Да я сама помою, что тут мыть.

И так каждый вечер, каждый день, и так во всем—тихое молчаливое неприятие и терпение, а не уважение и терпимость. А бабушка не обижалась. Она выросла и прожила всю жизнь в деревне, читала по слогам, была простой, не очень умной, немного толстой и старой, к тому же она начинала уже плохо слышать. Здоровье у бабушки было хорошее, она почти никогда не болела, хотя на здоровье жаловалась часто, особенно на сердце, но это никого особо не беспокоило. А потом в один тихий летний день ее сын умер, и она сидела на скамейке во дворе каменного дома и плакала, глаза были красные, а ладони постоянно хлопали по коленкам. Вечером пришли люди, все ее жалели, их было много. Они жалели всю эту семью, в том числе и бабушку, и ей было приятно, что на нее обращают внимание. Жизнь пошла дальше. Она не закончилась. Жизнь вообще никогда не заканчивается, даже если кто-то из нее уходит. Бабушка начала чаще забывать имена и даты, чайник на огне, открытые воду и газ. Она не стала чаще болеть, но стала себя хуже чув-

ствовать, еще сильнее постарела и стала создавать еще больше проблем. Внук давно уже жил в городе, правнук подрос и ходил в школу, он еще меньше других интересовался делами бабушки. А она жила одна, точнее, вдвоем с женой сына, ей было уже давно за восемьдесят. Жена сына тоже старела и болела, и ей все тяжелее и неудобнее было присматривать за ненужным и нелюбимым человеком. Так прошло еще несколько лет, последний год под фразы: «Она теперь мне никто... Я не могу за ней больше смотреть... Ей там будет лучше... Там работает знакомая, там хорошо...»

Собрания и голосования не было, было молчаливое согласие. В один из дней бабушку и ее вещи собрали и погрузили в легковую машину. Сказали, что везут в больницу, бабушка обрадовалась (она к тому времени уже совсем плохо соображала), и отвезли в дом престарелых. Туда же перевели ее пенсию, отдали ее документы, и у нас не стало больше бабушки. Я жил в этом же городе, где была эта больница, завел семью, детей. Бабушку если и вспоминал, то редко, никогда о ней не спрашивал и никогда не хотел ее увидеть. Мне было стыдно и неприятно. Я не любил ее, она была старой, немного противной, толстой и не очень умной, я старался не думать о ней и практически забыл. Мама проводывала ее поначалу очень редко, а потом и вовсе перестала—она тоже уже становилась скорее старой, чем молодой, и скорее больной, чем здоровой.

Про бабушку в нашей семье больше не говорили. Прошло сколько-то лет, вроде бы кто-то сказал, что она умерла. Кто и кому сказал, не совсем было понятно, но никто выяснять не стал, и всем как-то продолжалось жить дальше. Затем прошло еще несколько лет, и вдруг позвонили из больницы для стареньких и сказали, что, мол, ваша бабушка умерла недавно и будут ли родственники сами ее хоронить? Родственники ответили, что будут, хотя им вроде бы говорили, что... ну, впрочем, не важно, скоро будем. Внук с внучкой поехали забирать свою бабушку в дом для стареньких. При виде санитарок, пьющих чай с конфетами в ординаторской, внучка сделала скорбное лицо и назвала фамилию и повод. Внук пошел опознавать тело в морг. Ее вывезли на тележке, она лежала на боку, очень старая, вся скрюченная и ссохшаяся. И внук не узнал своей бабушки, он узнал только одежду. Но он никому ничего не сказал, а молча с санитаром переложил очень легкое тело в гроб. Крышку заколотили сразу. Катафалк в виде желтого автобуса с черной полосой повез бабушку обратно в деревню, в землю, к сыну. Внук держал гроб, чтобы его не трясло. Водитель спешил, могилу зарыли быстро, людей никого не было, была ноябрьская мряка.

У меня есть еще одна бабушка. Она живет далеко-далеко, ей уже очень много лет. Я ее вижу очень редко, но все равно хоть чуть-чуть, но люблю. Она хоть и старая и взбалмошная, но веселая и добрая.

Она очень маленькая и сухонькая. Она теперь уже очень старенькая и очень больная, очень плохо соображает и очень много доставляет хлопот. Она живет со своей дочерью, по совместительству моей тетей. Тетя тоже уже давно скорее старая, чем молодая, и скорее больная, чем здоровая. Они постоянно ссорятся. Это называется «досматривать бабушку». С ними еще живет дочка дочери дочери бабушки, попросту говоря внучка-правнучка. Это называется «присматривать за внучкой». Так и живут: стар, очень стар и млад.

А дедушку своего я видел в живых только один раз. Второго дедушку тоже видел только один раз, но на фотографии, хотя, может, это был и не он, я не уверен. А еще очень легко любить того, кто далеко, и тяжело того, кто рядом. И еще легко об этом писать и трудно что-то сделать. Сейчас.

**МА
КА
РЫ**

Макар жил через забор. Он был моим соседом и главным другом детства, из тех, знакомства с которыми ты не помнишь — ты знал их всегда. Его звали Игорь, он был довольно крупным и еще более толстым. Усы у него начали пробиваться класса с четвертого и окончательно пробились где-то к седьмому. Макар был на четыре года меня старше. У меня никогда не было старшего брата — у меня был Макар. Он меня многому научил. Полезного, правда, в этом было мало, а хорошего еще меньше. Макар не был хулиганом или тем более заводилой, он был как бы тихоня, много читал, в основном историческое что-нибудь, но учился не очень. Он был не глупым, хитрым и, наверное, с подлецей, хотя при этом совсем не злым. Но это если смотреть со стороны. А если смотришь достаточно близко, или хотя бы через соседский забор, то Макар как друг был довольно хороший. Несмотря на большую для детского общения разницу в возрасте, мы очень дружили, он был моей защитой, правда, не очень авторитетной. Но потом у него детство закончилось и его забрали в армию, а у меня оно еще некоторое время продолжалось.

А пока наше детство шло вместе, мы делали много интересных вещей: вместе гуляли в лесу с собаками, играли в футбол и чиж, катались на великах, ходили купаться на ставок, мастерили деревянные винтовки с резинкой, которые стреляли шпильками из гвоздей, и делали еще кучу вещей, которые обычно делают обычные пацаны в деревнях. Он научил меня курить, а потом — играть в карты, сначала просто, а потом на деньги. Макар лучше всех играл в триньку, а я постоянно проигрывал, и многие ему проигрывали, но немного — много у нас никогда не было. А Макар играл очень хорошо, хитро, умело махлевал и почти всегда оставался в плюсе.

А зимой мы как-то с Макаром играли в хоккей! В основном мы играли с ним в футбол с другими парнями или просто пасовались друг с другом на улице либо у него во дворе. Но по телевизору мы, кроме футбола, смотрели еще и хоккей, поэтому у нас были куплены клюшки на тот случай, если в Крыму выпадет снег и не успеет растаять к тому времени, когда мы вернемся из школы. Клюшки пролежали по чердакам и чуланам пару лет и вот, наконец, выпал красивый снег, белый и легкий. Мы у Макара во дворе утоптали небольшую площадку, поставили две скамейки в качестве небольших ворот и начали играть в настоящий хоккей с шайбой, естественно, не на коньках, а в такой вот хоккей на ногах. Все шло прекрасно, кто-то кому-то забивал, небольшая площадка была полна восторга, пока

я один раз, замахнувшись чересчур сильно, не треснул Макара, стоявшего сзади, клюшкой по голове. Я ничего такого особого даже не почувствовал, а он завопил очень громко: «Ай! Ай!», и закрывая закрывшей рукой рассеченную бровь, убежал в дом. Я постоял немного один на этой нашей хоккейной площадке, посмотрел на маленькие аккуратненькие красные кружочки на белом, хорошо утоптанном настиле и поплелся домой, неся клюшку на плече. Больше мы в хоккей не играли. Я даже потом не просил у него прощения. И не потому, что я такой невежливый или нечуткий. Просто у пацанов, там, в детстве, так не принято — просить прощения. Там, если напорол, как я с той клюшкой, то просто стоишь рядом или говоришь что-то типа: «Дай посмотреть» или «Ничего страшного», ну а если все-таки там страшновато, куда тебе дали посмотреть, то: «Это надо в больницу!»

Между нашими с Макаром дворами забор был из крупной проволочной сетки, и мы постоянно перелезали через него друг другу в гости. Можно было, конечно, ходить и через калитку, но через забор было как-то ближе, и по расстоянию, и по-людски. Макара переваливался через забор только в редких случаях, потому что сетка к нагрузкам в сто килограммов относилась крайне плохо, но зато я — легкий и худенький — летал туда-обратно по несколько раз на день. Сетка в том месте, где мы постоянно лазили друг к другу, со временем сильно прогнулась и провисла,

меня за это ругали, но от проторенного пути к другу я все равно не отказывался. Так как Макар перелезал через забор крайне редко, то если я был ему нужен, он просто подходил к забору и звал меня — я прибежал, и мы часто подолгу с ним трендели у этого забора. Пацаны как-то не умеют говорить просто так, они обычно говорят по делу — пусть маленькому, но все же для них очень важному, и иногда это затягивалось.

Никогда не забуду, как один раз я бегал от своей калитки к Макаровому забору, советоваться с ним по поводу сделки с микромоторчиками. Микромоторчики — это такие маленькие моторчики, которые выламывались из каких-то старых советских электроприборов, и из них умелые ребята мастерили самодельные микромашинки, которые ездили с помощью этих моторчиков и от батареек. А у меня в то время были только машинки, которые ездили от руки. А что для семилетнего сельского мальчишки означала машинка на батарейках в то время? Это была недостижимая мечта! Он даже не представлял себе, что еще существуют машинки с дистанционным управлением (на шнурке, а не на радио, конечно) и что о них тоже можно мечтать. Поэтому особо находчивые ребята мастерили себе машинки сами. Сами или с помощью пап — это не важно, главное, что такие парни и такие машинки существовали. И вот двое таких маленьких счастливчиков с одной такой машинкой в руках однажды постучали в мою

калитку к такому, еще более маленькому, мне. Они откуда-то прознали, что у меня есть два новых замечательных микромоторчика, по-моему, я одного из них знал и сам ему про них рассказал, наверное — ну, не следили же они, в конце концов. Но не важно, главное, они пришли и им нужны были эти два микромоторчика, а я мечтал о машинке на батарейках или хотя бы о наборе пластмассовых венгерских солдатиков-индейцев или ковбоев — пираты у меня уже были, а о викингах мечтать было бесполезно — их было вообще не достать. Поэтому на предложение мальчиков отдать им микромоторчики просто так, я ответил, что мне надо подумать и, оставив их сидеть на скамейке у калитки, побежал к забору звать Макара — советоваться. Макар как человек опытный (четвертый класс это уже как никак полжизни за плечами), подумав, предложил просить мне за два моторчика настоящую машинку на батарейках или, в крайнем случае, двадцать викингов. Я побежал обратно к калитке. Мальчики выслушали наше предложение спокойно и сказали, что у них ничего нет, но зато показали, как ездит их самодельная машинка. Назвать то, что ползало по моей скамейке, машинкой, могли лишь очень маленькие мальчики, и то наделенные определенной фантазией, и это если смотреть под определенным углом — например, с низкой точки, когда оно на тебя ползет. Но я входил в число таких мальчиков и то, что переваливалось по деревянному насти-

лу, произвело на меня неизгладимое впечатление, и я снова побежал к забору. Так я бегал туда-сюда около часа, за который мы с Макаром постепенно упали в наших условиях до десяти хотя бы индейцев, ну или двух таких вот самомашинок. Макар явно хотел остаться в тени этой сделки, но я думаю, в случае удачи он рассчитывал минимум на пятьдесят процентов от прибыли. Но мальчики ответили мне, что за то время, которое я бегал по двору, солдатиков у них не прибавилось, а менять два микро-моторчика на две готовые машинки, для которых эти моторчики — пусть главная, но не единственная часть, как-то совсем не выгодно. Выгодно ли мне отдать им эти микромоторчики просто так, они не сказали, а я не спросил. В итоге сделка так и не состоялась, а моторчики, так резко взлетевшие в моих глазах в цене, попали как-то по ошибке под дождь, вздулись, из них полезла ржавчина, и они поехали на мусорку. А мне через год на день рождения подарили танк на пульте управления, который, естественно, крепился к нему довольно коротким метровым проводом. Но зато им было удобно дергать и поправлять танк, если он где-нибудь застревал. На улице танк не выезжал, он был комнатным.

У Макара была большая семья. Его родители — дядя Миша и тетя Катя — были натуральными хохлами, с соответствующим выговором и повадками, они переехали в Крым откуда-то с Украины. Они были все довольно толстые, особенно тетя Катя,

и были настоящими колхозниками, несмотря на то, что тетя Катя проработала всю жизнь в городе, на заводе в каком-то тяжелом цехе, и, несмотря на свои больные ноги, ездила туда каждый день на автобусе. Дядя Миша был толстый, но не равномерно объемный, как его жена, — у него просто было пузо, и он ходил с ним вразвалочку. Но ходил он мало, потому что работал шофером на самосвале и все больше ездил за рулем. Еще у Макара были старшие сестра и брат. Сестру звали Светка, она была лет на пять старше самого Макара, довольно глупая и некрасивая, самым ярким в ее внешности были вечно выводимые, и, наверное, поэтому непобедимые угри. Но Светка хотела быть певицей, фанатела от Софии Ротару и собиралась поступать куда-то туда, где берут в певицы. Мои двоюродные сестры, приехавшие к нам на лето, прознали об этом Светкинском устремлении и, конечно же, не упустили случая устроить проверку ее певческих талантов, чтобы она могла немного потренироваться перед экзаменом. Поздно вечером Светка давала концерт, стоя со своей стороны забора, ну, а с нашей стороны под кустами ползали на карачках и давились от смеха две малолетние интригантки, потому что слушать стоя, как поет Света, было невозможно. Примерно так же ее оценила потом и приемная комиссия, которая берет в певицы, но как оказалось, не всех, и Света, как и ее мама, пошла работать на завод. Сейчас по телеку сплошь показывают идиотов без голоса и слуха,

лезущих в различные шоу для талантов, но тогда это было очень в новинку.

Старший брат Макара, Валерка, был тоже из простых — не образованных и не одаренных, зато и без амбиций. Он сразу после армии пошел работать шофером в колхоз, как отец. Затем женился на местной учительнице, родил с ней двоих детей — умненькую девочку с огромным родимым пятном на пол-лица и обыкновенного мальчика.

У нас в семье выходные редко отличались от будней, а у Макаров часто бывало очень шумно, когда все это семейство собиралось вместе. И я бы не сказал, что мы особо дружили с ними семьями, как это бывает в городе — ходят друг к другу в гости или ездят куда-то вместе. В деревне хорошие соседи живут как одна семья, только что забор есть и деньги хранятся по разным подушкам. Это уже не соседи, это уже родня. Так было и у нас с Макарами.

Я знал Макара всю жизнь — это его кличка, производная от фамилии, а когда чуть подрос, то с удивлением обнаружил, что у взрослых тоже есть прозвища или клички. И отца Макара, дядю Мишу, его друзья тоже кличут Макаром — фамилия-то у них одна, а взрослые это лишь подростские дети и думают часто одинаково.

Макары всегда питались очень хорошо. Даже не то что хорошо, а просто много. Да, вот так лучше — ели просто и много. Тетя Катя после работы всегда шла из магазина с огромными котомка-

ми—если хлеба, то шесть булок, если молока, то столько же больших стеклянных бутылок. Поэтому у них в семье были все очень откормленные, но самым откормленным был, конечно, Макар—мой Макар. Он был и больше отца и больше брата и в восемнадцать лет, перед армией, выглядел уже на тридцать.

Когда Макара забрали в армию—это было в 90-м году, за год до развала СССР, то его почему-то отправили служить на Дальний Восток. И вот его родители узнали, что их сына отправляют на другой конец страны, и что он полетит вместе с другими призывниками гражданским самолетом и можно приехать проститься в аэропорт. Они узнали это в самый последний момент, машины у них своей не было, и мы поехали на нашей. Тетя Катя собрала две сумки еды, и мы с ними и моим отцом приехали в аэропорт. Но то ли они перепутали время, то ли из-за готовности еды мы опоздали, но ни призывников, ни Макара мы уже не застали. Я взбежал на второй этаж, чтобы сверху найти друга в толпе, но увидел лишь дядю Мишу и тетю Катю, растерянно ищущих своего сына на открытой площадке перед зоной вылета. Дядя Миша со своим пузом и походкой вразвалочку, вышагивающий среди отлетающих, тетя Катя на опухших и толстых ногах, потерянно семенящая с двумя котомками в руках, куда, кроме домашних продуктов, наверняка были заботливо уложены и сигареты и бутылка самогоночки.

Но Макара нигде не было, он уже улетел. Мы, еще немало походив и повсплескивав руками, поехали домой.

А потом треснул и рассыпался Союз, и треснула и рассыпалась жизнь у очень многих. Стало очень тяжело жить почти всем, в том числе и нам, и Макарам. Но им как-то не везло больше. Светка, неудачно выйдя замуж за вроде бы внешне нормально, даже вполне симпатичного, в отличие от самой Светки, парня из небольшого городка, жила с мужем плохо. Он оказался неуравновешенным и нервнoбольным. Я видел его всего пару раз, и однажды стоя за ним в очереди за хлебом, долго смотрел, как он постоянно дергает головой и плечами без всякого повода, и стало ясно, что с ним что-то неладно. Потом он начал еще и пить, бить Светку и выгонять из дому. Она периодически возвращалась с маленькой дочкой к родителям, иногда с машиной вещей, иногда налегке. Так продолжалось, пока ребенок не подрос и не начал жить у теперь уже бабы Кати постоянно. Внучка было очень крупная, в их, макаровскую породу, но тоже совсем не симпатичная и не очень умная. Не симпатичным и не очень умным девочкам как-то особенно тяжело живется. А Светка курсировала к мужу или еще куда уже одна, навещая дочку все реже.

Валерка начал пить. Ну, пили и в семье Макаров, и в остальных всегда, просто когда нет работы и денег, то это становится основным занятием, очень

малоприятным на вид и на запах. Жена с детьми от него уехала, сначала в наш город, потом в другой — побольше и подальше. Валерка тоже вскоре поехал в город, хоть за какой-то копейкой — в деревне работы давно не было, но нигде особо не задерживался — платили мало, а пить надо было уже много.

Дядя Миша тоже пил, но запоями, основательно. Лет через пять он начал сильно болеть — сахар, как говорили. Через два — слег, а еще через год умер тихо на своей кровати возле печки, уменьшившись в объемах в несколько раз. Сам Макар, как не стало большой страны, удрал из своей части, кое-чего там прихватив. Добирался он из Хабаровска домой несколько месяцев, торгуя тем, что прихватил, или еще чем. Его поначалу искали, а потом, когда уже точно стало понятно, что это уже другая страна — бросили, но паспорт получить он не смог. Когда Макар наконец попал домой, исхудавший, с землистым лицом, со следами чиряков на руках — ему не подходил тот сырой климат и он там гнил заживо — я его еле узнал. Он повзрослел и сильно изменился, не только внешне. Я тоже изменился, пусть не так сильно, но все же. Мы поздоровались у нашего забора, недолго поговорили о чем-то и разошлись.

Макар, немного откормившись на мамашиных харчах, через некоторое время пропал, но теперь уже из дома. Год о нем не было ни слуха, ни духа. Кто-то мельком видел его в городе на рынке, и судя

по одежде и окружению, сразу записал его в бандиты. В то время всех, кто отличался от бомжей и деревенских, окрещивали рэкетиром. Но у Макара никогда не было бандитских наклонностей и, зная его страсть к азартным играм, деньгам и мухлевке, я понял, что он, скорее всего, стал игровым. А через год я уже сам его встретил на вокзале. Я опаздывал на электричку домой и быстро шел к перронам, он тоже куда-то спешил, но в обратном направлении, мы прошли мимо друг друга на небольшой вокзальной площади, полной народу, не сразу узнавшись. Затем одновременно остановились и обернулись. Макар теперь был похож даже больше на бомжа, чем на деревенского, по крайней мере, я, бедный студент-первокурсник, выглядел по сравнению с ним просто щеголем. Видимо, в его жизни что-то в очередной раз круто изменилось и, судя по его забитому взгляду, он не очень хотел об этом рассказывать, а я очень спешил, и мы, пару секунд постояв так и посмотрев друг на друга с расстояния в десять метров, разошлись, каждый в свою сторону.

Через несколько лет Макар вернулся домой, к маме. В деревне он пил, как все, и делал долги, потом снова пропадал. Когда его не было, то регулярно приходили, приезжали его кредиторы. Тетя Катя поначалу выплачивала его долги, пока могла, а потом уже просто плакала. Она к тому времени уже совсем плохо ходила, завод давно закрыли, пенсия была грошовая, а ходить приходилось очень много:

зимой в лес за хворостом (газ они не провели — не было денег, уголь тоже бесплатно не дают, а если не топить печь, то совсем холодно жить), летом в лесу собирала шиповник и кизил и еще что-то там, копала людям огороды, что-то выращивала на своем и все везла на рынок в город на электричке, а до нее, как и до леса — очень не близко... Копеечку зарабатывает, себя покормит и внучку, Макара, если дома. И много что еще делала. Ноги еле ходили, но делала. От цветущей, дородной тети Кати остался лишь платок и больные ноги какой-то старухи, а какие глаза у нее были, я не знаю — в них я ей старался не смотреть.

Макар, пока был еще ничего, в более-менее кондиционном виде, успел пару раз поджениться. Дамы, конечно, были еще те, но зато хорошие собутыльницы. Что-то там говорили про умершего малолетнего ребенка, но я особо не в курсе. Макар же потихоньку спивался и опускался. Невесты, даже самые распоследние, на него уже не зарились. Он где-то пытался подрабатывать — у матери деньги были далеко не всегда, а в долг уже никто не давал. Однажды зимней ночью, где-то, не у нас в деревне, а кажись в городе, по пьяни замерз и отморозил себе ноги. В больнице из-за начавшейся гангрены, ему отрезали их по колени. Его долго не выписывали, потом долго никто не мог его перевезти, потом он лежал дома, но, в конце концов, Макар вышел и начал ковлять по улице на своих заживших куль-

тяпках. Пенсию по инвалидности он оформить не мог, так как с той поры все никак не мог получить паспорт, и даже одно время перестал сильно пить.

Я хоть нечасто бывал тогда в деревне, но мы однажды встретились. У меня к тому времени, как на зло была уже хорошая машина, и проезжать на ней по деревне и видеть озлобленные лица некоторых односельчан, считающих, что я украл ее лично у них, было не очень приятно, а тут еще я встретил Макара. Он переваливался уже довольно бодро по улице, а я ехал ему навстречу. Я остановился. Он подошел, окно было открыто, Макар оперся о дверь и мы поздоровались. Я, сидя на сидении, и он — стоя на своих полуногах; наши лица оказались на одном уровне. Меня это сильно поразило, и я не знал, что говорить. Макар закурил, сказал что-то доброжелательное и мы сразу замолчали. Он щурился на летнем солнце, и нам нечего было сказать друг другу, как тогда на вокзале или еще раньше, у забора. Мы постояли так немного, потом я поехал, а он пошел своей новой, раскачивающейся купированной походкой.

Но окончательно Макар пить не перестал и ближе к зиме он снова где-то заснул на улице пьяный, замерз и умер. Не знаю, горевала ли тетя Катя — меня тогда в деревне не было, но лицо ее особо не изменилось, на него уже давно было страшно смотреть, оно лишь стало еще более черным.

Подросла, и едва кончив девятый класс, уехала от своей бабки и последняя внучка. Валерка со Светкой,

считай уже, и не приезжали. Прошло несколько лет, и баба Катя тоже умерла. Прибежала соседка и сказала, что тете Кате плохо. Пришли смотреть и сразу стало понятно, что ей не плохо — ей уже все равно.

Их дом стоит теперь пустой и разбитый, огород зарос, деревья засохли, вода и свет давно отрезаны. В доме пыталась жить какая-то семья, но внутри так уже все сгнило, что восстановить это все нет никакой возможности, а денег как всегда нет, они и ушли. Говорят, что Валерка хочет из города вернуться, но не верится мне в это, да и жить в доме уже нельзя.

А забор на месте и прогнутая сетка на месте, вот только перелезть не к кому.

Литературно-художественное издание

Олег Сенцов

Рассказы

Ответственная за выпуск Галина Любич

Подписано в печать 20.06.2015.

Формат 60×90 1/16.

Гарнитура Swift Pro.

Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Тираж 2000 экз. Зак. № 15-188.

Издательство «Laurus»

Свидетельство ДК № 4240 от 23.12.2011

Телефон: +380 (44) 234-16-30

www.laurus.me

laurus.info@yahoo.com

Facebook: laurus

Другие книги издательства:

issuu.com/laurus_press

Отпечатано:

ООО «Типография “Бизнесполиграф”».

Свидетельство ДК № 2715 от 07.12.2006

02094, Киев, ул. Вискозная, 8.

Телефон/факс: 0 (44) 503-00-45